

A. I. Лагунов

Теория словесности А. А. Потебни в модернистской парадигме: искажение или развитие?

Лагунов А. И. Теория словесности А. А. Потебни в модернистской парадигме: искажение или развитие? В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с творческой рецепцией теории словесности А. А. Потебни первыми русскими модернистами, которые остро ощущали потребность не только в обновлении способов и форм существования культуры, но философско-эстетического и теоретического обоснования этого процесса. Доказывается, что психолингвистическая теория словесности А. А. Потебни в интерпретации ведущих теоретиков символизма (В. Брюсов, Вяч. Иванов, И. Анненский, Андрей Белый и др.) рассматривалась как бесспорно основополагающая, но требующая, однако, дальнейшего развития на новом этапе эволюции теории литературы и искусства.

Ключевые слова: теория символизма, внутренняя форма слова, миф, трансформация, развитие, образ, символ.

Лагунов О. І. Теорія словесності О. О. Потебні в модерністській парадигмі: викривлення або розвиток? У статті розглядаються певні аспекти, пов'язані із творчою рецепцією теорії словесності О. О. Потебні першими російськими модерністами, які гостро відчували потребу не тільки у відновленні способів і форм існування культури, але філософсько-естетичного й теоретичного обґрунтування цього процесу. Доведено, що психолінгвістична теорія словесності О. О. Потебні в інтерпретації провідних теоретиків символізму (В. Брюсов, В'яч. Іванов, І. Анненський, Андрій Білій та ін.) розглядалася як безпредметно основоположна, але й така, що потребує подальшого розвитку на новому етапі еволюції теорії літератури й мистецтва.

Ключові слова: теорія символізму, внутрішня форма слова, міф, трансформація, розвиток, образ, символ.

Lagunov A. I. A. A. Potebnia's Theory of Literature in the Modernist Paradigm: Distortion or Development. The paper deals with some aspects related to the creative reception of A. A. Potebnia's theory of literature by the first Russian modernists who felt the urge both to renew the ways and forms the culture exists in and to provide philosophical, aesthetical and theoretical grounds for the process. A. A. Potebnia's psycholinguistic theory of literature as interpreted by the prominent theorists of symbolism (V. Bryusov, Vyacheslav Ivanov, I. Annensky, Andrei Bely, etc.) is proved to have been considered to be incontestably fundamental, however, requiring further development at the new evolution stage of the theory of literature and arts.

Keywords: theory of symbolism, inner form of the word, myth, transformation, development, image, symbol.

Два великих наследства получило русское и украинское литературоведение XX века от века XIX – историческую поэтику А.Н. Веселовского, строящего свою жанровую концепцию на историко-генетическом методе, и теоретическую поэтику А.А. Потебни, предложившего иной, психо-генетический метод, основанный на исследовании собственно языкового и художественного творчества в их взаимосвязи и единстве.

Школа А. Веселовского, осмысленная как сравнительно-историческое направление в русском литературоведении, была лишь частично – в ее этнографическом и мифологическом аспектах – востребована в эстетических теориях модернизма первых десятилетий XX века. Научная система этой школы осмысливается более широко уже во второй половине XX века, когда актуализировалась задача построения и создания новой исторической поэтики.

Иначе в исторической перспективе обозначилась преемственная линия развития теории словесности А.А. Потебни. Творческая рецепция если не всей грандиозной концепции его учения, то наиболее значимых и новаторских идей с самого начала нового века сопровождалась их более или менее выраженной трансформацией и модернизацией. Иначе и не могло быть, если учесть, что рубеж XIX–XX веков ознаменовался если не сменой типа культуры – на это уходит не одно столетие – то сменой стиля культуры, ее форм. Модернизм рождался на почве осознания острого кризиса старых форм культуры – неприятия позитивизма в науке, недоверия к рационалистическим методам познания и соответственно к реалистическим формам и стилям искусства, к любым ортодоксальным типам идеологии и т.п. Но, осознавая «болезнь» современной культуры, первые

модернисты начала XX века не менее остро ощущали насущную потребность не только в обновлении способов и форм существования культуры, но и философско-эстетического и теоретического обоснования этого процесса. В связи с этим особую остроту и злободневность приобретает отношение к «наследству» – к тем ценностям, которые накопила за многие века мировая культура, ибо только на их основе и возможно обновление ее форм.

Эта проблема актуализировалась уже в символизме – первой и, может быть, наиболее целостной и в силу этого воплотившейся в модернизме с наибольшей полнотой его течении (лучше сказать – его части). При всей своей устремленности к освоению всей мировой культуры и искусства, русский символизм сохранял при этом приоритет национального культурного наследия как в своих философско-эстетических устремлениях, так и в собственном литературном творчестве. Андрей Белый писал об этом: «Критики часто выводят русский символизм из французского. Это ошибка. Русский символизм и глубже, и поченнее... Достоевский, Гоголь и Чехов оспаривают у Ницше, Ибсена и Гамсуну влияние на молодую русскую литературу. Фет, Лермонтов, Баратынский, Тютчев больше влияли на наших поэтов, нежели Бодлер, Верлен, Метерлинк, Розенбаум и Верхарн. Лучшие поэты наших дней кровно связаны с нашим прошлым» [3:458]. Это же можно сказать и об осмыслинии и построении теории символизма самими символистами, прежде всего, тем же А. Белым, И. Анненским, Вяч. Ивановым, Эллисом и др. Вбирая в себя широкий европейский и мировой культурный контекст, она базируется преимущественно на высших достижениях отечественной культуры и науки, среди которых почетное место в оценках символистов занимают труды и учение выдающегося русского и украинского филолога А.А. Потебни.

Нельзя сказать, что вопросы, связанные с воздействием основополагающих идей и положений харьковского ученого на теорию и практику русского и украинского символизма не ставились в литературоведении XX века.

Этого не могло быть уже потому, что сами символисты, особенно те из них, которые были озабочены осмыслением и созданием теории символизма – А. Белый, Вяч. Иванов, В. Брюсов – неоднократно прямо или косвенно декларировали связь своих теоретических и творческих исканий с основными положе-

ниями учения Потебни. Но признание этого факта сопровождалось, как правило – особенно акцентно в советском литературоведении, – утверждениями и предостережениями о том, что делалось это как бы «неправильно», что восторженное их отношение и к личности, и к теории Потебни нивелировалось тем, что они переакцентировали, переосмыслили и даже исказили ее, приспособив для решения собственных задач и целей, использовав ее положения для построения основ собственной теории, т. е. теории символизма. Такой подход в течение многих десятилетий усугублялся негативным отношением и к самому символизму – его «ложная», «идеалистическая» теория, конечно же, «искажала» все то ценное, что содержалось в учении Потебни.

В последние десятилетия такой подход к проблеме потебнианских источников теории символизма изменился, но опять-таки все сводится к тому, что, скажем, восприятие символистами внешней и внутренней формы отличаются от того, как это понимал Потебня, что они отступали от принципа ученого – «в сотворении языка не бывает своееволя» и в понимании символа выходили за пределы, очерченные ученым и т.п. Все это так и есть, но разве возможно представить действенное функционирование теории Потебни в ее «чистом» виде в условиях формирования новой парадигмы в развитии культуры, литературы, искусства? Тот же русский символизм, как первая стадия и первое проявление модернистских тенденций в литературе начинался, как известно, с возрастаания острого недоверия к реализму с его тяготением к прямому и целостному типу художественного высказывания и выдвижением на первый план иного типа высказывания, предполагающего скрытность, неоднозначность, полисемантизм его истолкования. В поисках самоопределения символисты старались опереться на предшествующий опыт литературы, искусства и науки, хотя и подходили к нему избирательно, броя из него то, что в наибольшей степени способствовало обоснованию их собственной концепции нового искусства. Естественно, такой подход не только не исключал, но с неизбежностью предполагал не только усвоение, но и переосмысление, переакцентировку наследуемого опыта как в плане непосредственно творчества, так и его теоретического обоснования. У символистов просто не было иного пути, кроме, по выражению Иннокентия Анненского, «выхода в будущее через переработку прошлого» [2:234].

Что касается психолингвистической теории словесности Потебни, то она представляла перед ведущими теоретиками символизма как бесспорное основоположение теории символизма, требующая, однако, дальнейшего развития на новом этапе эволюции теории литературы и искусства.

Знаменателен такой факт из истории русского символизма: Андрей Белый уже в марте 1928 года, как бы подводя окончательные его итоги, пишет статью «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идеиного и художественного развития», в котором ретроспективно воспроизводит основные «ракурсы» и «лозунги» символистской школы периода ее расцвета. Среди основных пунктов этой программы особо выделены следующие:

1. Символическая школа видит «языковой свой генезис в учениях Вильгельма фон-Гумбольдта и Потебни (здесь обобществлен взгляд Брюсова на Потебню).

2. Но символическая школа не останавливается на работах Потебни, ища углубления их.

3. Одно из таких углублений вскрывает нам единство восстания языковой метафоры и мифа, где миф есть религиозное содержание языковой формы, а эта последняя есть реализация мифа в языке (спайка с Вячеславом Ивановым) [4:447].

В этой декларации обращают на себя внимание следующие обстоятельства: во-первых, учение Потебни предстает в ней как важная отправная точка в начавшейся, но далеко не завершенной работе по осмыслению и построению теории символистской «школы» («языковой генезис»); во-вторых, уже аргумент предполагается не только его усвоение, но и развитие, углубление, неизбежно вызывающее определенную трансформацию каких-то, не обязательно основополагающих (основоположения потебнианской теории как раз и были близки символистам и их, безусловно, устраивали) ее элементов и положений; в третьих, А. Белый как бы представляет в этой декларации за весь символизм: учитываются потебнианские истоки теоретических разысканий Брюсова в его стремлении к обоснованию эстетической самодостаточности слова, тех же истоков в мифологических концепциях Вяч. Иванова, касающихся, в частности, происхождения мифа и роли в нем слова, метафоры и символа.

Если бы А. Белый назвал бы здесь и имя П. Флоренского, еще одного безусловного «потебнианца» в стане символистов этого периода, то основной круг теоретиков этого

направления, активно осваивающих и разрабатывающих наследие Потебни, был бы этим очерчен.

Необходимость развития и даже некоторой трансформации потебнианской теории в процессе выработки теории символистского творчества определялась в остро ощущаемом ими трагическом разрыве между видимостью и сущностью, когда образы реальности, из которых складывается картина мира, внешнего по отношению к художнику, не совпадают с его личным представлением и личным откровением о «настоящей», глубинной и сокровенной сути этого мира, с его видением и переживанием «чаемого». Как воплотить это новое и столь сложное содержание в литературном произведении? Только путем вербализации, стихийной энергии, творческого порыва, единственно способного передать на сокровенном языке намека и внушения «тайну» этого мира.

Только в слове и сквозь слово поэт-символист вводит читателя в эту сферу своей «подлинной» реальности. Слово в поэтической и вообще художественной практике символизма – это слово не только и не столько рассказывающее о чем-то, объясняющее что-то или тем более учащее чему-то – оно само в творце, как и творец в нем, является как бы квинтэссенцией самой вербальности как творчества. «Самим фактом своего существования в слове, имясловия, символист утверждает обретение подлинной реальности, подлинного времени, тождественному творческому акту», – замечает В.М. Толмачев [9:979].

Если сказанное дополнить и тем бесспорным обстоятельством, что идеал символизма – это первооснова, первоматериальность мира, обретаемая опять-таки в поэтическом слове и творимая им, т.е. миф и мифотворчество, то станут еще более понятными и исторически объяснимыми мотивы, определившие интерес символов к философии языка, слова и мифа Потебни.

Попытаемся на этой основе и только в пределах его учения о внутренней форме слова выяснить основные направления и сам характер интерпретации теории Потебни символистами, ибо в современных работах о различных аспектах его теории словесности наличествуют явно негативные и, на наш взгляд, не совсем справедливые оценки на этот счет. Так, в первой и очень ценной монографии Ивана Физера «Психолингвистическая теория литературы Александра Потебни. Метакритическое исследование», дважды изданной в последние годы в Киеве, в которой учение Потебни (также впервые) вводит-

ся в контекст современных Потебне и последующих европейских концепций философии языка и основанных на ней теорий литературы и искусства, так определяется внутренняя форма слова у Потебни в сравнении с европейскими исследователями: «Если для него [Потебни – А. Л.] «внутренняя форма» была лингвистическим образованием, аналогичным этимону слова, то для них она отождествлялась с «эстетическим явлением» (Кроче), «творческим принципом языкового разума» (Фослер), «источником энергии поэтического творчества» (Шницер) или подобными метафорически выстроенным значениями» [10:5–6]. Кстати, на это толкование обратил внимание европейский же исследователь из Базеля И. Эрмен. Вот что он пишет по этому поводу: «Но тут Физер ошибается: для Потебни «внутренняя форма» тоже является выражением творческого потенциала в языке, она является чем-то большим, чем этимон. и уж тем более не каким-то «подобным» построением (giver)». Кстати, этот же базельский ученый, в отличие от И. Физера утверждает, что «заинтересованность Запада его [Потебни – А. Л.] теорией литературы следует объяснить влиянием Потебни на два литературные направления: во-первых, на символизм, <...> во-вторых, на формализм» [6:145].

Естественно, что при такой интерпретации внутренней формы слова у Потебни, когда она по сути лишается эстетического значения или это значение неоправданно суживается, ни о каком соотношении ее с символистской эстетикой говорить не приходится, что, конечно же, не соответствует действительности.

Объясняется это во многом тем, что И. Физер рассматривает лингвистическую теорию Потебни как формальную, из чего и следует характерный для нашей проблематики тезис: «Как и большинство формальных систем, теория Потебни существенно видоизменялась в работах его последователей» [10:87]. Вот под эти-то видоизменения и подпадает в монографии все то, что в изменившихся или изменяющихся социокультурных условиях развивает, обогащает новым смыслом основные и факультативные идеи и положения потебнианской теории.

Сама идея возможности развития, хотя бы некоторой трансформации этих положений не допускается: малейшие отступления от «канона» неизбежно оцениваются как их искажение. Хотя, как известно, сама теория Потебни является развитием и углублением основных положений В. Гумбольдта и Г. Штейнталя. Впрочем, во «Введении» к своей монографии

И Физер характерно замечает: «Лингвистическая теория Потебни как *безхитростный* синтез философии Вильгельма Гумбольдта и психологии Геймана Штейнталя совсем не есть археологией знания» [10:7]. Заметим, что здесь возможна ошибка переводчика.

В каком же направлении, в каких аспектах и ракурсах воспринималась и развивалась теория словесности Потебни в теоретических исканиях символистов? Напомню прежде всего, что для них она была основоположением в области философии языка для построения своей, символистской теории, и каждый из них эти аспекты выдвигал и обосновывал по-своему. Для В. Брюсова, например, раньше других символистов обратившегося к теории Потебни, уже в 1903 г., когда была написана его статья «Ключи тайн», было ясным, что цель искусства – познание, которую он обосновывает, опираясь на Потебнию: «В своих замечательных исследованиях Потебня показал, что слово создавалось первоначально вовсе не для общения людей между ними, а для усвоения себе своей мысли. Искусство есть особая форма постижения мира – не в его явлениях, подлежащих изучению научными путями, разумом, рассудком, трезвой мыслью, а в его сущностях» [5:585–586]. В антиномиях явление – сущность, познание – постижение – явная символистская трансформация учения Потебни о слове и поэзии, но в дальнейшем, скажем, в статье 1910 г. «Литературная жизнь Франции. Научная поэзия» он окончательно снимает эту трансформацию: «Только взаимодействие искусства и науки в силах создать истинную культуру данной эпохи. Поэзия должна дополнять науку и обратно» [5:168]. Как видим, вполне «потебнианский» тезис.

По-новому ставится вопрос о функции и целях искусства: он считает, что в настоящий момент «поле очищено для того, чтобы могла утвердиться теория, выставленная А. Потебнею об искусстве как особом методе познания» [5:174].

Иннокентий Анненский, близкий к символизму поэт и классический филолог, не подвергая сомнению потебнианскую аналогию между словом и художественным произведением, различает в поэзии внешнюю и внутреннюю формы, а также идею (мысль), но решительно протестует против самого понятия «художественный образ», считая, что художественность произведения не сводима к его образности, так как «заставляет предполагать существование поэзии не только вне ритма, но и вне слов... В словах есть только

мелькающая возможность образа... – поэтому никакой другой, кроме символической, она не была, да и быть не может» [1:338]. Словесная образность, по Анненскому, может архаизироваться в смене эпох. Не умирают лишь символы, они живут вечной жизнью, обновляясь в веках и поколениях. Утверждая в духе Потебни, что «само чтение поэта есть сотворчество» [1:5], Анненский вводит для обозначения того, что Потебня определял как «внутреннюю форму, образ» [8:175] дефиницию «симпатический символ», призванную как можно четче оттенить авторское начало в произведении, его «душу». Именно оно и является, по Анненскому, самым сокровенным, самым intimным, постигаемым читателем только «симпатически» – его внутренней формой, а персонажи, отображения эмпирики жизни – внешней. «Различие, – разъясняет он, – заключается в том, что внешняя сторона литературного создания дает некоторую возможность заключить о той, которая приросла к автору, тогда как слово только условно соединилось и сложилось с мыслью» [1:18].

И внешняя форма художественного произведения в понимании Анненского (герои, изображаемый мир), и внутренняя его форма (автор) находятся в тесных и самых разнообразных отношениях с идеей (мыслью), и эти соотношения определяют в конечном счете и художественность, и жизненность (в эволюции) художественного произведения.

Вяч. Иванов опирался на труды А. Потебни в обосновании реальности, объективности мифа, а более всего – происхождения мифа и символа; известен интерес к трудам Потебни А. Блока.

Но более и плодотворнее всех развитием теории Потебни в эпоху символизма занимался А. Белый, и больше всего критических

стрел по поводу всяческих «приспособлений» и «искривлений» теории Потебни в угоду обоснованию символистской парадигмы направлялись и продолжают направляться именно в его адрес. Подробное рассмотрение потебнианских корней и истоков в теоретических трудах А. Белого представлено в двух моих статьях, к которым я позволю себе отослать интересующихся этой проблемой: «Ідеї А.А. Потебни в естетических трудах Андрея Белого» (Вісник ХНУ, № 631. – Вип. 41) и «Статья Андрея Белого «Мысль и язык (философия языка А.А. Потебни)» как программный документ русского символизма» (В кн. «Олександр Потебня: сучасний погляд». Харків, Майдан, 2006).

Подводя итог, попытаемся ответить на поставленный выше вопрос: не исказили ли символисты философско-естетические и лингвистические концепции Потебни, исходя из нужд и запросов своей школы. Ответ, на мой взгляд, может быть один – нет, не исказили. Дело в другом – они действительно нашли в его учении надежную философскую и филологическую основу для построения новой эстетики. В процессе ее освоения они, безусловно, адаптировали ее в соответствии с новыми задачами и требованиями, выдвигаемыми новой, модернистской парадигмой литературного творчества и эстетического мышления, переосмысливали некоторые ее положения.

Но, как тонко и точно заметил по этому поводу еще в 70-е годы прошлого века выдающийся русский лингвист и эстетик Б.А. Ларин, «ведь для переосмысления должны же быть основания» [7:28]. А основания эти, как мы, надеюсь, убедились, были. В конечном счете ведь вся история развития человеческой мысли есть осмысление и переосмысление ранее накопленного ею.

Литература

1. Анненский И. Книги отражений / Иннокентий Анненский. — М. : Наука, 1979. — 679 с.
2. Анненский И. Письма к С. К. Маковскому // Ежегодник рукоп. отд. Пушкинского Дома на 1976 г. / Иннокентий Анненский. — Л. : Наука. Ленингр. отделение, 1978. — С. 222—241.
3. Белый А. Арабески / Андрей Белый — М. : Мусагет. — 1911, — 501 с.
4. Белый А. Символизм как миропонимание / Андрей Белый — М. : Республика, 1994. — 526 с.
5. Брюсов В. Я. Собр. соч. : в 7 т. Т. 6. / Валерий Брюсов — М. : Худож. литература, 1975. — 652 с.
6. Ермен І. О. О. Потебня і сприйняття його на Заході // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури. / І. Ермен. — К. : Видавн. дім Д. Бураго, 2004. — С. 141—149.
7. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Избранные статьи. — Л. : Худож. литература. Ленингр. отделение, 1974. — 285 с.
8. Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня — М. : «Искусство», 1976. — 614 с.
9. Толмачев В. М. Символизм // Энциклопедия литературоведческих терминов и понятий / В. М Толмачев. — М. : НПК «Интелвак», 2000. — С. 980—986.
10. Фізер Іван. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. Метакритичне дослідження / Іван Фізер — К. : Видавн. дім «KM Academia», 1993. — 112 с.